

Маклаковский «ров» и милюковская «пропасть»

Коротко характеризуя тип исследования, реализованного в двух книгах А.Н. Егорова¹; я бы определил его как «историографию историографии», или критику уже имевшей место исторической критики, что само по себе предполагает более высокий и широкий уровень интеллектуальной рефлексии. Таким образом, это исследование, несомненно, носит историографический характер особого рода. Но вместе с тем (или именно поэтому) обращение ко всему сложившемуся за 100 лет комплексу отечественной литературы, посвященной судьбам российского либерализма первых двух десятилетий XX в., означает еще и определенный разворот к анализу истории отечественной общественной мысли. Ведь о чем, по существу, идет речь в тех «сквозных» – ведущихся с начала прошлого века дискуссиях вокруг узловых проблем российского либерализма, которые суммированы и критически осмыслены в рецензируемых работах? Да о том, что и сегодня находится в центре внимания мыслящей части нашего общества – задачи и движущие силы российской модернизации; власть и общественность как субъекты этого процесса и мера их готовности идти на компромиссы; альтернативы политического развития России; пути выхода общества из революции. Разве это не злободневные сюжеты?

Автор отмечает неизбежность известного «кадетоцентризма» своей работы, учитывая роль, сыгранную Партией народной свободы в истории на фоне других либеральных партий. В то же время он вполне отдает себе отчет в том, что история российского либерализма значительно шире и многограннее, и даже пользуется этим обстоятельством в историографической критике, например, сопоставляя попытки договориться с правительством кадетов и умеренных либералов октябристского толка. Очень важно и то, что Егоров включает в понятие «отечественная историография» научную, мемуарную и публицистическую литературу Русского зарубежья. Ведь именно там свободная историческая рефлексия о

революции, большевизме и его оппонентах естественным образом перерастала сугубо историографические рамки, становясь основой более широких размышлений о перспективах России после большевиков. К сожалению, этот интеллектуальный опыт до нас дошел с большим опозданием, когда коммунизм уже пал, а мы оказались ко всем последствиям этого не вполне готовыми даже в теоретическом плане.

Было бы, конечно, хорошо, если бы тот уровень осмысления темы, который достигнут отечественной историографией за последние 20 лет и нашел синтетическое выражение в рецензируемых книгах, был нам явлен тоже пораньше – хотя бы четверть века назад, как раз ко времени начала нового витка преобразований, увенчавшихся возрождением либерализма в нашей стране.

Однако в силу всем понятных причин этого не было, и быть не могло. Судьба российского либерализма начала XX в. в нашей исторической памяти вполне соответствует его печальной политической участи в нашей стране.

Драматизм сложившейся ситуации для меня лично высветил один частный разговор, случившийся в самом начале 1990-х гг. Собеседником был широко известный ныне политолог, в ту пору либеральной направленности. Узнав, что мои интересы лежат в плоскости истории российского либерализма, он весьма критически высказался о советской историографии темы, назвав в качестве примера конкретную монографию, кстати, одну из лучших. Я поинтересовался, а что он еще читал из работ советских историков? Выяснилось, что больше ничего. Зато, конечно, читал труды самих либералов. И впечатление у него от «историографии темы» сложилось невыгодное. Политическому аналитику были интересны не просто новые факты, добытые из архивов, не какие-то нюансы в интерпретациях, а именно общий взгляд, общие оценки. И они, конечно, в попавшейся ему далеко не худшей монографии советского историка не могли его не разочаровать.

Этот пример, как мне кажется, наглядно показывает трудность задачи, которую поставил перед собой Егоров, – не пренебрегая ни одним из этапов в развитии историографии темы, проследить не только ее тупиковые пути и закоулки, но и попытаться выявить восходящую линию – постепенное приращение фактического материала и относительную значимость новых трактовок марксистско-ленинской ортодоксии (переход от теории «двух

¹ Егоров А.Н. Очерки историографии российского либерализма конца XIX – первой половины XX в. (дореволюционный и советский периоды). Череповец: Череповецкий государственный университет (ЧГУ), 2007. 275 с.; *он же*. Российские либералы и власть: историографические дискуссии. Череповец, ЧГУ, 2007. 258 с. На основе этих исследований подготовлена и защищена докторская диссертация: Егоров А.Н. Отечественная историография российского либерализма начала XX века. Дис. ... д-ра ист. наук. М., 2010.

лагерей» к теории «трех лагерей», например). И автору этот действительно трудный труд удался. Более того, исследования Егорова показывают, что в рамках профессиональной историографии темы, ограниченных как политическим, идеологическим и цензурным диктатом, так и самим предметом исторического знания, в особенности с 1960-х гг., пробивались и ростки общественной мысли. Не случайно «новые идеи, как правило, высказывали те историки, кто сформировался как исследователь в период “оттепели”» (Очерки историографии... С. 62–63).

На первый взгляд Егоров подводит итоги изучения истории лишь одного из ведущих направлений российской общественной мысли и практики, а его работы выступают таким историографическим апофеозом либерализма. На деле он просто не может абстрагироваться и от других направлений, которые с либерализмом соперничали и взаимодействовали. Отголоски и продолжения этих сложных отношений с теми, кто был «левее» или «правее», отчетливо прослеживаются на разных этапах историографических дискуссий, подробно рассмотренных в рецензируемых книгах. А «в наши дни, – приходит к выводу автор, – в условиях идеологической свободы единство взглядов среди историков по данной проблеме невозможно в принципе, так как взаимосвязь исторической науки с современными реалиями общественно-политического развития страны достаточно очевидна» (Российские либералы... С. 250).

Старое интеллигентское направленство (или направленчество, существуют разные варианты), пережив выросшие из него в последовательном порядке и думскую многопартийность, и советскую монопартийность, возродилось в современной историографии русской общественной мысли и практики. Как показывает Егоров, после крушения СССР маятник резко качнулся от упреков в излишней умеренности либералов, столь свойственных советским историкам, к упрекам в излишнем радикализме. Егоров отмечает историографический парадокс: «Казалось бы, широкий разброс мнений о роли либеральной оппозиции должен стимулировать научные дискуссии. Но никаких широких обсуждений спорных проблем не наблюдается. Как правило, авторы избегают вступить в полемику друг с другом, даже если их позиции кардинально расходятся (курсив мой. – С.С.). Даже в советское время, в условиях цензурных ограничений, уровень дискуссий оставался достаточно высоким. Не боялись спорить друг с другом и эмигрантские авторы. Чего стоит хотя бы дискуссия между П.Н. Милюковым и В.А. Маклаковым о роли

кадетской партии в политической жизни страны» (Очерки историографии... С. 245).

Поскольку в сравнении с рассмотренными Егоровым историографическими дискуссиями его исследование по определению представляет собой более высокий уровень научной рефлексии, постольку в нем заложена и во многом реализована возможность преодоления диагностируемой им замкнутости и односторонности. Призыв автора к историкам разных направлений «научиться слушать друг друга, разбираться и анализировать разные точки зрения» не голословен; он вытекает из самого характера уже проделанной им работы. Егоров показывает осмысление исторического опыта отечественного либерализма как сложный, зигзагообразный процесс, в котором участвует весь представленный на том или ином отрезке времени спектр российских научных, культурных и политических сил.

Сопоставляя доводы исследователей, дающих суровую оценку либералам за их «излишний радикализм», с доводами тех, кто стремится оправдать этот радикализм, автор обращает внимание на разный характер аргументации этих противоположных позиций. Критики кадетского радикализма, как правило, опираются или на общефилософские отвлеченные рассуждения, или на работы Маклакова и дореволюционную и эмигрантскую правую публицистику и мемуариистику. Те же, кто считает, что по-другому быть не могло, исходят из анализа конкретно-исторической ситуации, складывавшейся из таких факторов, как настроения и требования масс, на которых стремились опереться кадеты, их недавнее нелегальное прошлое, и главное, позиция самой власти, мера ее готовности пойти на компромисс. Возлагая вину за провал первых Дум на либералов, консервативная историография не замечает ответственности самой власти.

Автор справедливо объясняет живучесть маклаковской концепции психологическими причинами. Если покаянная позиция Маклакова давала надежду на успех, который был где-то рядом, порожила соблазн «переиграть историю», то трагичная в своей безысходности картина, нарисованная Милюковым, воспринималась скорее как попытка самооправдания неудачливого кадетского лидера. В то же время даже простое сопоставление высказываний, с помощью которых основные участники этого спора рисовали ситуацию, показывает глубинное сходство их представлений на уровне образного мышления. Маклаков: «Виновать на самом деле тот *ров*, который к этому времени уже был между властью и страной, то недоверие друг к другу, отсутствие общего языка, которое мешало совместным действиям». *Ми-*

люков: переговоры о создании «правительства общественного доверия» в 1906 г. лишь «обнаружили ту пропасть, которая продолжала отделять правительство от общественных деятелей». Макаловский «ров» и милюковская «пропасть» – разве не свидетельствуют они о той преследующей и Россию, и ее историческое сознание трагической запоздалости, мысль о которой постоянно приходит при чтении рецензируемых книг?

В ходе предпринятой автором критики историографической критики выявляется и еще один очень характерный общий мотив, трактуемый на разные лады, но, по существу, сближающий даже полярно противоположные направления общественной мысли и историографии. Речь идет о характеристиках отношения либералов к власти. Хроническая «властебоязнь», парализующая их политическую активность, или непомерное «властолюбие», готовность идти на все ради достижения власти? Если сформулированная лидером большевизма и доведенная до логического конца рядом советских историков мысль о «властебоязни» либералов показывала, что вся их оппозиционная деятельность «всего лишь “симуляция”, цель которой отвлечь народные массы от настоящей борьбы с царизмом», то исторические консерваторы (назову их так), как и их историографические продолжатели, «категорически» отрицали и «отрицают» благие побуждения либералов, считая их не идейными борцами, а беспринципными политиками, готовыми на все ради власти».

Разумеется, если обратиться к реальным фактам, либералам не было свойственно ни то и ни другое, что и показывает Егоров в ходе историографического анализа. Власть для либералов – не цель, достигаемая любой ценой за счет попрания своих фундаментальных мировоззренческих принципов и программных установок, а инструмент, без которого «невозможно провести демократические реформы». Такая позиция делала российских либералов особенно уязвимыми в постфевральской России, что и показало их отношение «к попытке Корнилова остановить революцию».

Но важно было бы показать и то, что взаимосключающие обвинения во «властебоязни» и «властолюбии» метко характеризовали именно противоположные полюса общественно-политической жизни. Консервативные политики и публицисты, как и развивающее их взгляды консервативное направление в современной историографии, словно не замечали и не замечают, что абсолютизация цели прихода к власти, как и вообще беспринципность, возводимая в принцип, свойственна вовсе не либералам, а леворадикальным полити-

кам, в первую очередь большевикам. В то же время родившийся в лоне ленинской школы историков термин «властебоязнь» довольно точно характеризует отношение к власти именно русского консервативно-патриархального сознания, благополучно пережившего и монархию, и коммунистический вождизм, и радикальные преобразования рубежа 1980-х – 1990-х гг.! Даже в нынешней демократической по своим конституционным основам России одним из страшных пороков, если послушать иных современных политических аналитиков и публицистов, является само стремление к власти, как будто власть это сакральный институт, прикосновение к которому уже большой грех! По сути, это обвинение воспроизводит в более или менее явном виде патриархальный миф о провиденциальной природе государственной власти и «Божьей милостью» дарованных ей прерогативах, посягательство на которые строго каралось законами Российской империи.

Вообще следует заметить, что в обострившихся ныне дискуссиях о путях российской модернизации, как в прошлом, так и в настоящем времени, этот старый государственнический миф играет большую роль. В его основе лежит представление о государстве, отождествляемом в основном с бюрократией и верховной властью. Между тем очевидно, что не одна власть вела страну по пути обновления, в особенности в пореформенное время. В этом участвовало все большее число народа, начиная с крестьян, выходивших в люди, «в знать» (А.Ф. Писемский), становившихся предпринимателями. Параллельно интенсивно формировалась и разносословная интеллигенция, работавшая на поприще образования, науки, культуры. Либерализм не вполне легитимный, с точки зрения тогдашней власти, но закономерный продукт ее же политики. Модернизация – это не только реформы и улучшения, которые задумываются и реализуются властью, это люди, которые их осуществляют в стране на разных уровнях: от общегосударственного до низовых и локальных. Этот активный разносословный образованный слой все более осознавал себя вправе участвовать и непосредственно в делах управления государством. Но именно этого не хотела признавать власть. И не хотят видеть современные консерваторы.

С.С. Секиринский,
доктор исторических наук
(редакция журнала «Российская история»)